лица Саперная уходила вниз, к морю, к Карантинной бухте. Теперь она кончается тупичком, потому что в лихие годы, после падения Союза, мафиози с Волги построил прямо на дороге мрачный замок с узкими

и теперь никто не живет, серой громадой он закрывает вид на море и небо. Любарев, приезжая к матери, все время выслушивал страшную и назидательную историю мафиози, эту легенду Саперной улицы. Впрочем, он толком не вслушивался. Любарев садился на скамейку у стола, задумчиво и радостно смотрел на синий виноград «Изабелла» — беседка во дворе была густо и причудливо оплетена им. В маленьком родительском дворике все было знакомо до боли, до умиления сарайчик, в котором мать держала кур, крошечная кухонька, площадка для ман-

гала, старая смоковница с сизыми, грушевидными плодами. За спиной у Любарева, в открытую форточку гудел холодильник «Донбасс», он был дорог матери, потому что они его покупали вместе с отцом. Все в этом маленьком, вдовьем домике было

окнами-бойницами и загородил выход. Пожить бандиту в крепости не довелось вскоре его убили в разборках, а виллу потом несколько раз перепродавали. В замке связано с прошлым — лепная розетка с хрустальной люстрой, потемневшей от времени, лепной же карниз под «античность», плюшевый ковер с чуткими, настороженными оленями над двуспальной кроватью. Отец был инженером-корабельщиком, и судьба Любарева тоже должна была соединиться с Черным морем, которое глухо ворочалось рядом, в двухстах метрах от дома. Он любил — а в Москве и тосковал — по сухим и легким крымским

ночам. Здесь, на берегу Карантинки, у громадных известняковых валунов, так и не отшлифованных ветрами и волнами, еще мальчиком он чувствовал дыхание тысячелетий, слабый пульс канувшей в Лету Римской империи. Что-то трагическое и безжалостное, как прибрежные скалы, было в его родном солнечном городе, и такую же трагедию обещала ему судьба; море сверкало и играло под солнцем, оно призывало не бояться, помериться силами — и, если надо, безропотно умереть.

Во дворе дома на Саперной улице рос инжир, слива, а у входа цвел огромный розовый куст, выше человеческого роста. Стебли были мощные, с крепкими светлыми иглами. Аромат у цветов — слабый, но стойкий; если растереть лепесток между пальцами, то запах розы держался долго,

весь день. Такой же, обманчиво-романтичной, была и его первая юношеская влюбленность. Саша была тонкая, с длинными светлыми волосами, с широкими темно-голубыми глазами. Время от времени она являлась в его сны — как мучительно-желанная греза о невозможном счастье. Судьба этой девушки, к которой он даже не смел прикоснуться (да что там — даже взглянуть пристально не смел!), сложилась трагически: выйдя замуж, она попала в автомобильную катастрофу. Говорили, что лицо ее и тело были так изуродованы, что ее невозможно стало узнать... Любарев после школы (она училась в младшем классе) никогда ее больше не встретил.

В женщинах Любарев больше всего ценил внешнюю красоту. Умом он понимал, что это неправильно, что облик красавицы может маскировать ужасные душевные язвы, но ничего не мог с собой поделать. Он не был бабником, «юбочником» и циником. Парни из его класса уже хвастались (привирая, конечно) множественными победами, а Любарев лишь мрачно и гордо молчал, хотя ему тоже было чем поделиться.

Как у ювелира сжимается сердце при виде драгоценного камня, так и у Любарева все замирало внутри при виде красивой девушки. Ему нравился только один тип — высокие, белокожие блондинки, с длинными волнами волос и точеными, правильными чертами древнегреческих камей.

Он был мальчиком-подростком, когда впервые пережил чувственные отношения. Мать всегда брала на лето отдыхающих, обычно семейные

пары, иногда с детьми, а в тот раз поселила молодых людей — Максима и Свету. Они жили в крошечной летней кухоньке рядом с домом. Максим был фанатом плавания, ныряния и рыбалки. Днями он про-

падал на море — мускулистый, с хорошо развитым торсом, и чуть кривыми, волосатыми ногами. Смешливая Света звала Любарева играть в карты. Она любила жульничать и беззастенчиво пользовалась его растерянностью — Любарев больше следил за выражением ее лукавых глаз, чем за количеством выбитых тузов и шестерок. Они играли на щелбаны, и он с душевным трепетом подставлял свой чистый лоб под лихие щелчки ее тонких и крепких пальцев.

Как верный пес он служил этой властной и кокетливой повелительнице, ходил за ней, как привязанный.

Максим уехал в Форос к приятелю на ночь. Они долго сидели в беседке, увитой виноградом, под рассеянным светом фонаря.

Ну все, пора, — сказала Света, смеясь.

Внезапно погас фонарь — это бывало, что электричество ночами отключали. Он коснулся ее ладони — по правде говоря, случайно. Она не

убрала руку, и его затрясло от волнения, как от электрических разрядов.

— Пошли ко мне, — тихо и повелительно сказала она. Он, как загипнозированный, вошел в тесную кухоньку. Между электроплиткой, столиком и постелью было ровно столько места, что они мог-

ли только стоять рядом. И тогда они стали долго и мучительно целоваться. Она была чуть выше его ростом, и все тело его вытянулось в струну, наполнилось напряженной, сладкой мукой. Он чувствовал, что совершает ужасную ошибку, грех; и в то же время он испытывал эйфорический восторг, наслаждение от своего неожи-

данного и чудесного падения. Он слышал эгоистичную, алчную жадность ее гибкого крепкого тела, она долго его томила, капризничала, пока, наконец, он с невозможной для него грубостью и истерическим исступлением не набросился на нее и не добился, наконец, торжествуя и ненавидя, последней близости.

Разгоряченные, они лежали рядом. Постель пахла Максимом — его спортивным мускулистым телом. Света тихонько смеялась — наверное, Любарев ей казался агрессивным котенком. А у него из глаз бежали слезы облегчения — он чувствовал себя вором, которого не поймали, путником, упавшим в пропасть и чудесно спасенным...

Врач походил на огородника, который осматривает плоды, чтобы определить «спелые — зеленые», или на мангальщика, ворочающего угли под зарумянившимся шашлыком. С холодным ужасом Любарев понял, что здесь он непременно умрет, если не вырвется из лап вежливо-учтивого доктора Геббельса.

 Бухенвальд, — шептал он, лежа под капельницей. Наутро ему стало лучше. Он почувствовал себя почти здоровым. И в

этой неожиданной бодрости он вдруг ощутил не вчерашний ужас близкой бездны, а прежнее мужество жителя морского города: «Ну и что, что умру? Не я первый...»

В его первой женщине чудилось что-то мифологическое, сказочноковарное, овеянное легендами Херсонеса.

Любарев был мальчиком из хорошей семьи: отец — инженер, мать учительница. Он был не варваром, а эллином и мечтал покорить мир не животной силой, а культурой и интеллектом.

Зачем этой гедонистке Свете было совращать подростка Любарева? Из озорства? Из женской мести мужскому племени? А может, Любарев ей

хоть чуточку нравился? Он запечатлел свою первую чувственную страсть в романе, который имел успех (относительный, конечно, литература стала уделом избранных). Где теперь коварная Света, и что сталось с ее крепышом Максимом?! Переживания Любарева переплавили бытовую, в общем-то, историю, в высокую трагедию. Он и сам многое понял, когда, вглядываясь в прошлое, писал эти

сцены подростковых метаний, наполненные страстью, желанием и стыдом...

материнский домик на Саперной улице — с увитой виноградом беседкой, с розовым кустом у порога, с терпким запахом перезрелого инжира, с летними сухими ночами, когда над головой так близко висит Большая Медведица. Но потом он остыл, одумался и договорился с татарином Мехмедом, соседом, что тот присмотрит за домиком в обмен на сдачу его по-

Он приехал вступать в наследство и сгоряча чуть не продал белый

стояльцам в курортный сезон. Он уезжал от моря огорошенный и будто оглушенный. В чем была суть его жизни? В укреплении родового гнезда, в возведении на месте

домика виллы с высокими коваными воротами? Или в чем-то еще? Он не Сидение на двух стульях продолжалось. Он должен был добывать хлеб насущный, быть «не хуже других»; что ж, в этом тоже просматривалась некая логика. И когда он попадал в компанию крепких, уверенных в себе

мужиков, рулящих денежными потоками, он почти готов был отречься

от всего эфемерно-идеалистического, неуловимого, что составляло его суть; но потом он оставался наедине с собой и с ужасом понимал, что все эти особняки-джипы-депозиты — муть, что все, сделанное для себя, не имеет смысла; оно, то, что для себя, должно появляться как бы ниоткуда, из работы для других, а литература — да, она, конечно, была для всех. Но это его убеждение подавляющим большинством воспринималось как блажь, как болезнь (нормальные люди вертели пальцами у виска), или как никчемное занятие неудачника, возомнившего о себе невесть что. Тогда Любарев переставал верить в себя — против общественного мнения,

вился не мил. До тех пор, пока — по словечку, по абзацу — он не возврашался к заветным писаниям. И был момент, когда жизнь его приобрела еще одно стыдное, тяжелое, двойное дно — в 16 лет заболел шизофренией сын. В периоды обострений Борис становился буйнопомешанным. Были и жестокие санитары, и психлечебницы, и доктор со зловещей фамилией Черносвитов, который доил Любарева несколько лет, обещая чудесное исцеление. Нет, ничего не помогло. Только официальная медицина давала небольшие просветы

то есть народа, не попрешь, он впадал в мизантропию, белый свет стано-

в болезненных состояниях. За что, спрашивается, Боре такие испытания? Любарев жил в чужом городе, с чужой, в сущности, женщиной, которая по документам была его женой, с несчастным больным сыном, к которому иногда Любарев испытывал чувство ненависти — и жутко по-

том каялся; потому что Боря мешал, мешал ему! Так, может, Любареву надо было бросить творчество?! Если все —

против? К чему эта война с судьбой?

Получив заказ, Любарев погружался в проектирование, с наслаждением решал математические задачки, мозг его работал весело и нагруженно, как мотор, который нес машину в гору. В конце плодотворного дня он испытывал законное чувство довольства, и тогда он спрашивал себя: почему бы ему не утешиться долей толкового инженера, вполне благородной и уважаемой профессией, дарящей общественную «стабильность»? Почему его несет куда-то дальше, в незнаемое?! Каждый шаг в сочинительстве был мучителен, будто он шагал по гвоздям; хотя, возможно, этот

путь был ошибочен или просто банален; каждый глубинный поход обещал скорее позор и забвение, чем славу и почести, и все равно он, таясь, писал, просиживая дни напролет в библиотеке; писал свой жизненный дневник — изрядно приукрашенный. Не потому, что он боялся «реализма» или правды. Нет, он хотел сочинить ту жизнь, которую мог бы прожить, если бы у него хватило сил, воли и ума.

Иногда его кидало в подражание, и, чуя заемные интонации, он с холодным мужеством уничтожал написанное. Стоило же ему начать сочинять по-своему, проза выходила скучной или пошлой. Не хватало та-

ланта. Что ж, он верил, что дар можно — хотя бы частично — возместить

В материнском домике висела чеканка на стене — девушка-горянка несла кувшин на плече; он всматривался в небольшой этюд — подарок местного художника, ученика матери. На картоне, грубо, но старательно, была изображена охотничья собака — вислоухий сеттер с раскрытой

Каким спокойствием и объяснимостью веяло от этих стен!.. В распахнутые окна было слышно, как в соседнем дворе осипший тенор, молодой петух, пробовал голос — «ку-ка-ре-ку». Получалось вымученно,

«Вот так же и мои писания», — усмехался Любарев. Но петух не сдавался, все разрабатывал и разрабатывал голос — такой в нем был задор и

трудолюбием и усердием.

пастью, розовым языком.

обреченно.

жажда жизни.

ным» лицом, высокий, голенастый, с аристократически тонкими запяс-

Борис Жуковский, странный молодой человек, «маньяк от литературы», с мощной гривой волос, с красивым, чуть удлиненным, «лошадитьями и лодыжками, бывший студент филфака (учение он бросил после

первого курса, убедившись, что ему только «портят вкус» за его же деньги), остановился у книжного лотка «Все по сорок». Боря с увлечением рылся в развале. Он промышлял на жизнь журналистикой и производством немудрящих сайтов для маленьких фирмочек. Кое-какие деньжонки водились. Впрочем, он не собирался ничего покупать — план чтения у него был расписан на несколько месяцев впе-

ред. Но, будучи завзятым библиофилом, он не мог отказать себе в удовольствии порыться в книгах. Жуковский с азартом кладоискателя погрузился в развал. Без нагруз-

ки он все-таки не ушел — зацепил сборник некоего Любарева, писателя искреннего и наивного.

Любарев, так жаждавший своей первой книги, наконец-то обаял издателя (это стоило ему многих походов в ресторан, кутежей с коньяком и дорогими закусками, разговоров «за жизнь» и пр.). Теперь тираж скорбными пачками — «гробиками» — лежал у него в гараже. В магазины книгу брали плохо. Издатель дулся, хотя палец о палец не ударил для про-

движения. Грезы Любарева, что книгу будут покупать, обсуждать, что общественное внимание хотя бы на время сфокусируется на его труде (как ему

казалось — не рядовом) постепенно растаяли. От литературы ждали развлечения и досуга, а вовсе не поисков смыслов бытия.

Не прельстились его сюжетами и киношники — проза им не нужна,

«сами сочиняют». Любарев приехал к матери, медленно отходил от полученного удара. На четвертый день купания, хождения по берегу, лежания на камнях, он дически нарушаемое гудением холодильника «Донбасс», да грусть по навсегда ушедшей юности сопровождала его в этот приезд к матери. Одна она его любила и жалела — бескорыстно, нежно и понимающе.

Костя Белоглазов был младше Любарева, но постоянная пьянка его состарила и он походил на доброго дедушку из советских мультфильмов —

лысый, с носом «башмачком» и мудрым прищуром выцветших глазок.

вдруг почувствовал тягу к письму. Он открыл общую тетрадку «с замыслами», куда отрывочно, эскизно, он заносил мысли, идеи и сюжеты, и ахнул: сколько ж тут добра! Так, наверное, хозяин, поднявшись на чердак и увидев милые когда-то сердцу вещи, тоже радуется забытому сокровищу — самовару с распаянным краном или детской кроватке с проваленным дном... Можно, можно еще попить чайку или родить ребенка... По

Любарев, листая тетрадь, ощутил прилив нежности к никчемному занятию, погубившему его жизнь — нет, не надо ни денег, ни признания, ни славы. Ему нужно только время, чтобы осуществить задуманное. Пусть эту прозу выбросят в мусоропровод на следующий день после его смерти, но зато он сумеет выразить себя, как, допустим, выражает себя картиной

Терпкий запах сохнущего винограда «Изабелла», безмолвие, перио-

крайней мере, теоретически.

вил.

художник, а композитор — симфонией.

У Кости — большие рабочие руки, мощная шея в расстегнутом вороте рубахи (он не признавал костюмов и галстуков — «нам, пролетариям, это ни к чему»), и трезвый, несмотря на то, что три дня в неделю он пил не просыхая, взгляд на жизнь.

Любарев сошелся с Костей на почве любви к литературе. Белоглазов писал много, легко и занимательно, это была крепкая проза, сдобренная ненатужным юмором и виртуозной детализацией. От впадения в заурядность Костю спасало то, что он в молодости был художником

и обладал прекрасной, фотографической памятью, которую не смог пошатнуть даже алкоголь. Его внутренняя оптика оригинально преломляла жизнь: Белоглазов не заморачивался с сюжетами и прототипами, он последовательно описывал весь родственный куст, включая двоюродных и троюродных братьев и сестер, жен (их было три), наиболее запавших в душу любовниц, муз (т.е. женщин, к которым он питал платоническое чувство), собак (когда-то он увлекался охотой), соседей по коммуналке, собутыльников, художников, попутчиков по трамваю и пр. Из незначительной детали — найденной в ящике сломанной броши, он легко, не заморачиваясь, выдувал целую повесть (это был любимый формат) и, поставив точку, обычно ничего не пра-

Писание, впрочем, и для него было мукой, в том смысле, что на протяжении всей работы, допустим, двух месяцев, он не брал в рот спиртного. «Чтобы не потерять нить», — объяснял он Любареву технологию. То есть найденная брошь являлась как бы кончиком нити, которую он «тянул» из глубин небытия, ткал из нее волшебный ковер-самолет, переносящий в счастливое прошлое.

Закончив повесть, Костя, разумеется, расслаблялся и напивался в стельку, дабы снять стресс от перенесенной каторги.
Костя свел Любарева со столичной литбогемой, и новичок даже по-

Костя свел Любарева со столичной литбогемой, и новичок даже попробовал «зашибать» наравне со старожилами, но вскоре сошел с дистанции, убедившись, что тут ему точно первенство не грозит. Да и никакого толку от посиделок не было, кроме наречения себя гениями, пьяных слез и братания.

Но Белоглазов все-таки отличался от этой спитой клаки. Он был добрым малым, и первым похвалил Любарева за книгу (другие завсегдатаи застолий, поди, и не открыли ее), сделав, между прочим, несколько дельных замечаний.

Любареву творческий метод Кости не нравился. Он видел в его бытовщине слишком простой путь, на который сам не отваживался. Любарев хотел мыслить вечными категориями и описывать эпохи и драмы народов, а не внутреннюю пустоту миленькой Любочки-юбочки. Они спорили с Костей до хрипоты. «Рассудочность убивает художе-

ственность, баранья твоя голова!» — восклицал Белоглазов; «да все эти свадьбы-разводы-свидания-квартирные вопросы запечатлены тысячу раз и никому не интересны, это все равно, что натюрморт с сиренью — мило, но не ново»; «переученный философией инженер, неужели ты не понимаешь, что каждая человеческая судьба — уже произведение искусства, что из бытовых повторов и рождается жизнь?»; «традиция продуктивна, но надо идти вперед, создавать новые миры»; «чтобы открывать новое, не надо много думать, надо просто родиться Толстым, Чеховым или Плато-

новым...»

ским точкам я не ходок.

Чем больше они спорили, тем радикальней расходились их взгляды на творчество, и тем сильней крепла их личная дружба. Разругавшись в пух и прах, наутро они жалели о ссоре и одномоментно хватались за телефон. Линия была занята — в этот миг они звонили друг другу. Так бывало не раз, трогательные совпадения душевных движений примиряли их лучше всяких слов. Их отношения были наполнены иронией, рыцарством и братской любовью. Это была настоящая мужская дружба, та самая, которую прежде описывали в героических романах, ставшая в нынешней жизни исключительной редкостью.

Повести Белоглазова не пользовались успехом. Он сдавал оставшую-

ся от родителей «однушку», на это и жил. Раз в год, скопив деньжат, Костя издавал толстый том новых произведений, раздаривал сборник друзьям. В магазинах книги покупали плохо. Белоглазов подсчитал, что продажи покрывают только треть расходов. Публикации в периодике тоже случались, но они лишь тешили самолюбие — о гонорарах речи не было.

Любарев, наблюдая за мытарствами Кости, высказал идею, что печататься надо в коммерческих издательствах, что нужно «пробиваться в нишу».

- Дурачок, зачем тебе это? остужал его пыл приятель. Я пишу, что хочу, без указок безграмотных менеджеров по продажам. Тебе случалось видеть самонадеянных девочек с купленными дипломами, изображающих из себя бизнес-леди?!
- Мы, Костя, не гении, спорил Любарев, а в коммерческом формате есть преимущества. Продавцы книг лучше, чем философы, понимают потребности масс, они диагносты. А писатели это врачи, которые выписывают рецепты.
- Ага, в виде постельных сцен и мордобоя, ущучивал его Костя. Плевать мне на этих «диагностов» им надо людям втюхать то, что самим досталось по дешевке писания литнегров. Нет, брат, по буржуин-

Все так же зеленой свечой горел над Саперной улицей пирамидальный тополь, невысокий штакетник у двора выцвел и приуныл, калитку перекосили дожди и ветры. Во дворе пахло виноградом, несобранные гроздья сохли на лозе, сухие листья устилали дворик, придавая ему сиротливый и брошенный вид.

Лишь отважная, одинокая роза, символ любви, призывно цвела у порога, как напоминание о навсегда ушедших временах. «Неужели и моя жизнь прошла?» — мысленно ахнул Любарев.

Вечером он жарил во дворе на самодельном мангальчике мясо, пил терпкое красное вино прямо из бутылки, смотрел на близкий ковш Большой Медведицы и беззвучно плакал, радуясь и этим слезам, и своему одиночеству, и вину, и мясу, и тому, что мать умерла тихо, без мучений и тяжких страданий, что она прожила большую и красивую жизнь и что он, как мог, ограждал ее от горя и бед. Любарев, чутко уловив, что матери не легла на сердце его жена, приезжал домой один или с Борькой, а когда сын заболел — только один. Он никогда не жаловался, не рассказывал о бедах, не хвалился успехами, но свою первую книгу он, конечно, матери привез.

Любарев дарил сборник, стесняясь и терзаясь. Так, наверное, переживают грешники, идущие к первой исповеди — было что-то мучительно-стыдное в его книге. Но мать не осудила его, не посмеялась, не упрекнула, она смотрела на него с уважительным удивлением и, пожалуй, с сочувствием. Она жалела его!

Здесь, в маленьком уютном домике на Саперной улице, его всегда ждали, так, как не ждали нигде, никогда — и Любареву было стыдно, что в своей душе он не вырастил такую же розу, что цвела у его родного порога — отчаянно-красивую, беззащитную, стойкую. Да, он любил эту каменистую желтую землю, любил грозное синее море, любил зеленую свечу тополя у ворот, любил жизнь, но ему не хватало трудолюбивой самоотверженности в этой любви, такой, какая была у его матери...

Борис Жуковский поселился в крошечном одноместном номере в центре города. Из экономии он взял поздний рейс, самолет вылетал из Москвы ночью. Теперь его голова гудела от бессонницы и смены часовых поясов. Он наспех принял душ, сбросил с постели покрывало и с наслаждением вытянулся на чистой простыне. «Такое чувство, что я сам отмахал крылами от Москвы до Улан-Удэ», — усмехнулся Боря. Жуковский завернулся в плотный накрахмаленный пододеяльник, солнце заглядывало в отверстие между шторами, но встать и задернуть их у него не было сил. Через секунду он провалился в глубокий и темный сон.

Его разбудил невыключенный мобильник — телефон громко пел «Lady in Red», извещая о полученном сообщении.

— У-у-у! — взвыл Жуковский и, не открывая глаз, нашарил на полу мобильник. Он поднес телефон к лицу, нажал на нужную кнопку. Экран вспыхнул. «Сегодня в 11 часов дня в онкоцентре на Каширке после тяжелой болезни скончался Юрий Любарев. Похороны состоятся завтра».

Боря вытаращил глаза и резко сел в кровати. Он прочел полученное сообщение еще пару раз. Что бы это значило?! Ну да, вчера он купил книжку некоего Любарева на развале «Все по сорок». И что? Почему Любарев умер? Почему именно Боре пришло это зловещее сообщение? Бред! Мистика какая-то. Боря, сварливо поворчав, выключил телефон и вырубился, заснув здоровым и крепким сном молодого человека с чистой

совестью.

Между тем в доставке этой скорбной вести не было ничего мистического — жена Любарева сделала массовую рассылку по всем номерам, оказавшимся в телефоне умершего. (Так что о смерти писателя узнал и стоматолог Бойков, и глава жилищного кооператива Уразова, и таксист Григорий и еще множество совершенно постороннего дитературе народа)

матолог воиков, и глава жилищного кооператива у разова, и таксист г ригорий, и еще множество совершенно постороннего литературе народа.)
В том, что в этом списке оказался Боря, не было случайности — Любарев сразу отметил среди критиков новое лицо — лихого филолога-недоучку Жуковского, смело крушащего дутые авторитеты. Если бы не болезнь,

Любарев обязательно бы встретился с Борей, он уже и телефон его добыл...

«А был ли в моей жизни замысел, смысл? И как его угадать?»

С обреченным бесстрашием Любарев вспоминал прошлое. Почему-то в памяти настойчиво всплывало не хорошее, а стыдное. Оно обрастало все

в памяти настоичиво всплывало не хорошее, а стыдное. Оно обрастало все новыми подробностями, и Любарев уже не знал, как от него избавиться. Жена горестно прибиралась в больничной тумбочке, ее красивые длинные пальцы подрагивали. Он вдруг вспомнил (без прежней ненавис-

ти, почти спокойно), как узнал о ее измене — «добрые люди» сказали. Все, оказывается, кроме него, давно были в курсе, что он — «рогатый». Лю-

барева тогда захватила волна беспредельного бешенства, и он рывком распахнул балконную дверь, чтобы разбежаться и выброситься к черту с девятого этажа!

И в этот отчаянный миг позвонил Костя — он просто медиум, его чуткий друг! Белоглазов с первой секунды понял, что что-то случилось, все вытащил из него и висел на трубке до тех пор, пока не сгладил у Любаре-

ва самоубийственный порыв. Но Жанна нанесла ему нокаутирующий удар, что называется, «под дых». Туда, где впоследствии развилась у него раковая опухоль.

Он давно ее простил и разлюбил, совершенно к ней оравнодушился, и, видя сейчас ее виноватое лицо, ему стало жаль эту несчастную, блуд-

ливую женщину, прожившую еще более никчемную жизнь, чем его собственная.

Жанна, тревожась и сбиваясь, говорила, что добилась направления,

жанна, тревожась и соиваясь, говорила, что дооилась направления, что его отсюда переведут, что профессор завтра посмотрит и будет консилиум...

Он почувствовал, что это — настоящие хлопоты, что она бьется за его

жизнь, и в лице ее, которое со времени измены словно было задернуто

лживой и глупой маской, вдруг проступило что-то страдающее и милосердное. Новое выражение — суеверного страха — мелькало в ее потускневших от бессонницы глазах. «Да ей ведь еще лучше, если я умру, — отстраненно подумал Любарев. — Свободней будет». По-житейски это было правильно, логично, но он чувствовал, что не прав — Жанна поняла что-то такое, чего он еще не понял, что-то она пережила... И он застонал — от душевной боли: как же все-таки глупо, изломано и неправильно они про-

жили!
— Больно? — Она встревожилась, на лице обозначилось участливое страдание.

— Нет, ничего.

«Лучше бы я тогда в окно выбросился, — вдруг подумал он с отчаянием. — Зря ты, Костя, меня тогда вытащил!»

ем. — Зря ты, Костя, меня тогда вытащил!»
И все-таки он пытался быть мужественным перед лицом смерти:

«Жанна, видишь ли, нанесла удар под дых, раковая опухоль... Бред. А Борис в кого уродился сумасшедшим?! В меня?»

Мысли о сыне изводили его, забирали последние силы. Он отвернулся к стене, зарылся лицом в одеядо, чтобы не видно было его сдез.

Жанна тихо ушла. Медсестра вколола обезболивающее.

«Если бы я правильно жил, мне не страшно было бы умирать», ниточка сознания пробивалась сквозь наркотический полумрак. «Чего мне не хватило? Воли? Ума? Мужества? Таланта? Доброты? Веры?..»

Через год в книжном магазине «Москва» Боря увидел новую книж-

ку Любарева. «Пестренько, живенько!» — он повертел сборник в руках. На последней обложке красовались фразы из Бориной статьи.

Жуковский стал листать книжку. Наследники не особо церемонились с волей покойного — он увидел переименованную повесть, еще у одной вещи безжалостно обрублен финал. «Автор с того света редактирует, что

ли?!» — ухмыльнулся Боря.

И все же главные слова, строй мысли, пусть и в куцем виде, уцелели в сборнике, вышедшем, наконец-то, как и мечтал Любарев, в коммерческом издательстве.

Боря невольно задержался на одной из страниц, погружаясь в любаревскую прозу, где страдали, любили, изменяли и каялись маленькие люди, изо всех сил стремящиеся стать большими. Боря видел, как цветет в приморском дворике одинокая роза на высокой ножке, как плывет в синем небе зеленая мачта пирамидального тополя, как игриво плещет

лазурная волна, ударяясь о неласковые, лобастые камни, похожие на голову Зевса... Увлеченный, он простоял с книгой больше часа, не замечая редких

нец, он дошел до финала повести и, вздохнув, поставил книгу на полку. — Нравится? — решила пококетничать с ним Люсенька. У юной продавщицы — тонкий стан, русалочьи волосы пепельного цвета и прописка

покупателей (неторговое время — утро трудового понедельника). Нако-

в Ростове-на-Дону — она приехала покорять Москву. Книг Люсенька по своей воле никогда не читала и к библиофилам относилась с презрением, как к людям убогим, больным на голову! Но

импозантный Боря заинтриговал ее своей серьезностью. — Можно перечитывать, — Жуковского расслабила, размягчила лю-

баревская проза, и он снизошел до ответа. (Женщин он презирал, считая их существами неразвитыми и ограниченными от природы.)

Боря удостоил Люсеньку вежливого взгляда, и это была роковая ошибка! Началась новая полоса его жизни, в которой, если честно, книги не помогали, а только мешали...

ЛЮБОВЬ И ЛИБЕРАЛИЗМ

Ольга столкнулась с Машуней в дверях:

— Ой, а я убегаю! Олечка, ты — чудо, прелесть! Шарфик какой пестренький! А сумочка! А что в ней носишь, такая тяжесть?!.. Пуговички оригинальные! Авторская работа, из салона?.. Наконец-то ты выбралась! Прости, что оставляю тебя; я на минутку, я мигом, одна нога там, другая здесь, начальство срочно вызвало...

— Какое начальство?

— Я здесь работаю уже полгода! Видишь, мы редко встречаемся, ты ничего обо мне не знаешь! Думала, я позвала тебя книжки читать?! На презентацию? Хи-хи! Хотя я полистала, своеобразно, на любителя. Меня

такие темы не трогают, главное для женщины — погода в доме, личная жизнь. Я тебе расскажу про Сашуню, отношения... Мы должны всласть потрещать, за все пропущенные месяцы! Обсудить движение планет, бренную реальность, бурю чувств!

На Машуню нельзя обижаться — глаза сияют, видно, что действительно рада — аж на месте пританцовывает, кудряшками потряхивает.

— Ладно, — Ольга махнула рукой. — Припаду пока к пульсу высокого интеллекта. Не переживай, я тебя дождусь.

— Ага, ага, момент, sorry, — зачастила Машуня, дружески сжала ее запястье и упорхнула — в розовом пальто-крылатке — «как мимолетное виденье». Подруга тотчас затерялась в вечернем людском потоке, струя-

щемся по бульвару к метро. Ольга вздохнула, сдала плащ в гардероб усталой пенсионерке — не-

давно бедняжка весьма неудачно выкрасила волосы в ядреный морковный цвет. Сделав замысловатую загогулину в извилистых поворотах узкого коридора, Ольга оказалась в небольшом, уютном зальчике культурного центра «Москва-интеллект».

«Негусто!» — интеллектуалов, включая Ольгу, собралось человек пятнадцать. В основном это были старые «либералы» с печатью поиска смысла жизни на лице — унылые мужики в джинсах или в заношенных брюках, сердитые деды в растянутых свитерах с катышками, в добротных, всесезонных ботинках с тупыми носами. Мирское и внешнее, похо-

же, их волновали мало, главное — идея и истина, до которых они, судя по их важному виду, безусловно, добрались. Синклит мудрецов разбавляли пожилые дамы с увядшими лицами, ярко накрашенными губами, с вызывающе крупными бусами, брошами,

серьгами, перстнями; драгоценности призваны были заместить безвозвратно ушедшую молодость. Цветущая юность, впрочем, тоже присутствовала. В центре зальчика гордо восседала пара «офисных хомячков». Поразительно некрасивый юноша-хипстер явно поставил своей целью «порвать глаз» публике: при-

ческа а-ля нутрия, очки в черной пластиковой оправе, кофта грязно-зеленого цвета, голубые джинсы-дудочки. К «комплекту» была приложена длинноволосая миловидная девушка в темном платье с глубоким декольте. С молодежью гужевался пожилой, коротко стриженный джентльмен с холеными усами; он что-то тихо назидал хипстеру, ласково улыбаясь девушке и явно стараясь ей понравиться. Ольга деловито заняла место напротив центрального стола, где уже

суетился герой дня — невысокий, плотный мужичок с обличьем и повадками доктора наук; по тому, как он раскладывал бумаги и книги, как поправлял очки и окидывал торопливым взглядом зал, чувствовалось, что хоть и немало на его веку прочитано лекций и перевидано аудиторий, все ж сегодня, представляя монографию «Культурный либерализм», он ис-

пытывает легкий мандраж. «Давай, жги! — мысленно подбодрила его Ольга. — А мы расслабимся и запасемся поп-корном, как говорит молодежь». Она уже смирилась с тем, что вместо милой болтовни с Машуней ей предстоит выслушать доклад доктора культурологии. Впрочем, почему бы и нет?! Для расширения

кругозора? Мужичок (его звали Юрий Платонович) отодвинул на край стола узкую вазу с крупными, малиновыми розами, поерзал на стуле и изготовился к началу действа. Цветы были так совершенны, что Ольга сначала поному, фактурному мужику с седым ежиком и слуховым аппаратом за ухом: «Это мне Зоинька подарила... в честь презентации... мы давно дружим...»

думала, будто розы искусственные, но нет: автор объяснял гостю, круп-

 Итак! — докладчик поднял вверх указующий перст, прокашлялся и призвал зал к вниманию. — Сегодня мы поговорим о нравственном

выборе русского человека... Ольга искоса бросила взгляд на аудиторию. «Либералы» меланхолич-

но и расслабленно внимали, хипстер, наморщив лоб, даже полуоткрыл рот с выступающими вперед зубами — тема, видимо, была для него в новинку; джентльмен с усами плотоядно поглядывал в декольте смущающей-

ся девушки, дамы, пользуясь моментом, деликатно охорашивались — трогая браслеты, бусы, кольца; поправляя рюши и драпировку на одеждах. Платоныч между тем резко взял старт. Он бойко читал доклад по бумажке, иногда прибегая к жестикуляции — изображая свободной левой рукой некое «дирижирование смыслами»; в правой длани он держал —

чуть на отлете — лист бумаги с напечатанным текстом. Смысл книги сводился к следующему: Пушкин, Лермонтов, Гоголь были отъявленными либералами, они противостояли архаичным соборно-авторитарным основам русской культуры. Писатели, вопреки дикой

среде, выбрали свободу и стали реформаторами косного имперского общества. «Альтернативность... интерпретация... права человека... способ жить... личность... аксиология...» Докладчик излагал теорию с большим жаром; он рассуждал о «новом

типе божественного у Пушкина», о тридцати идеологиях, обнаруженных у поэта, о созерцании рая в «Демоне» Лермонтова, о бессмысленности темы пути у Гоголя, о постмодернизме русской истории, о «падении в бездну» и подвиге интеллигенции, о любовных желаниях и муках творческой личности; и все же, несмотря на вложенные старания и испепеляющий пафос лектора, минут через десять аудитория явно заскучала по «рекламной паузе». Лысый мужик, с брезгливым, недовольным выраже-

нием лица, упорно боролся со сном, голова его то и дело опасно клонилась в сторону, он с трудом разлеплял глаза; еще один гость нахально пересел к чайному столику, положил в пластиковую тарелку печенюш-

ку, зашуршал конфеткой, потянулся к кулеру за кипятком... «Да где ж Машуня пропала!» — взгрустнула Ольга, чувствуя, что духовно полностью «отлепилась» от Платоныча. И тут опытный докладчик прибег к сильному средству оживления

— Душе настало пробуждение! — фальцетом вскричал оратор, так, что лысый мужик от полученного звукового удара вздрогнул и мотнул головой, как лошадь, укушенная оводом. Но следующая пушкинская строка утонула в неожиданном кашле — Платоныч поперхнулся «на взлете».

«Пушкин отомстил», — усмехнулась Ольга. Лектор достал платок, высморкался.

— Простите! Я не очень долго?! (Аудитория воспитанно промолчала.) — Я прошу пять минут, пять минут! Для раскрытия темы любви! И

Окуджавы сборничек почитать! С него, между прочим, началась новая поэзия в России!

«Тьфу! Да откуда ты взялся на мою голову!» — Ольга достала телефон, посмотрела, нет ли пропущенных звонков, сообщений. «И куда Машуню на ночь глядя понесло?»

— Пушкин на своем пике — это Высоцкий! — вещал между тем культуролог.

«Бред какой!» — Ольга возмущенно оглянулась, но поддержки не на-

шла: аудитория, похоже, разделяла смелые выводы доктора культурологии.

 Окуджава — трагическая фигура, не понятая духовными лидерами перестройки. Здесь у нас присутствует Семен Афанасьевич, — доклад-

чик почтительно, по-чиновничьи, склонился в сторону мужика с седым ежиком и слуховым аппаратом, — он стоял у истоков либеральной рево-

люции 1991 года, патриарх, так сказать, освободительного движения, и я специально для него хочу зачитать... Из сборничка Окуджавы... — Платоныч пролистнул несколько страниц в небольшой книжице. — Вот...

«Давайте восклицать, друг другом восхищаться...» Любить, любить людей, призывал нас великий гуманист-современник!

 Позвольте уточнить! — пискнула пожилая дама в кудрявом русом парике. — Булат Шалвович был боец, а не всепрощающий Христосик! Он в 1993 году подписал письмо «Писатели требуют от правительства решительных действий»! Он призывал жестко бороться с красно-коричневыми оборотнями, с тупыми негодяями, захватившими парламент, Конституци-

«Какая кровожадная пенсионерка! — изумилась Ольга. — А на вид божий одуванчик, из тех, что внучков в музыкальную школу или на каток водит...»

онный суд! — и дама энергически хлопнула сухой ладошкой по столу.

— Потом, потом, — отмахнулся Платоныч. — Подождите, Раиса Бо-

рисовна, мы еще не перешли к прениям. — Для молодежи специально говорю, — пропищала дама, повернув-

шись в сторону хипстера с девушкой, — они не знают истории, у них может сложиться ложная картина мира!

голос елея, выдохнул: — «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»! Вот что он пишет! Вот к чему зовет художник, гений! К сотрудничеству, к общему делу. И далее, в «Молитве», принципиально иной, чем у Пушкина, подход к бытию; не «я», а «мы» — вот ценность! Окуджава пишет: «Дай же Ты всем понемногу... И не забудь про меня».

— Продолжаем! — жестко осадил коллегу культуролог и, добавив в

Телефон у Ольги мигнул — пришла эсэмэска от Машуни: «Потерпи чуточку! Уже выдвигаюсь!» Сообщение заканчивалось смайликами красным сердечком и улыбающейся рожицей.

«Ты бегаешь, а я тут пытку культурой переношу!» — вздохнула Ольга. Но ответила кратко: «Давай, жду!»

А тем временем градус интеллектуального варева стремительно на-

растал.

— Можно вопрос? — Холеный джентльмен приосанился, расправил плечи, явно рассчитывая на внешний эффект. Он выдержал значительную паузу. — Хочу спросить автора: зачем вы погубили столько деревь-

ев? Вам бумаги не жалко? Зачем вы написали толстую книгу? — Как? — Платоныч от неожиданного наскока опешил, тонкие губы его сложились в скорбную скобку. — Я только что объяснил: ген либера-

лизма наследует каждый, кто прикасается к творениям русских гениев! Начиная от Пушкина! Вот, почитайте мою трактовку власти в трагедии «Борис Годунов». На Западе тоже есть соборность, но там она реализуется через демократические институты. А у нас коллективизм зиждется на

ложных основаниях авторитарной русской культуры, замешанной на

православии. И я, — Платоныч обвел аудиторию рукой, — то есть все мы, не покладая рук, трудимся на ниве просвещения! Пушкин — либерал! И мы, наследующие «наше все», обязаны быть либералами! Это наш культурный выбор! — Это я понял, — джентльмен усмехнулся. — Но позвольте вам про-

демонстрировать сей манускрипт. — Джентльмен вытащил из внутреннего кармана пиджака тонкую брошюрку размером в ладонь; на черной обложке красовался человеческий череп. — Хочу вам преподнести итог истинного знания и большой внутренней работы. Моя книга «Амфибрахий галопа». Путешествие Пегаса по долинам русского самосознания.

 Спасибо, изучу с удовольствием! — Платоныч уже оправился от критического удара и вполне овладел собой. Профессор небрежно бросил «Амфибрахий галопа» к пухлым томам «Культурного либерализма», возвышавшимся у вазы с цветами. — Благодарю за внимание. Вы провели отличную самопрезентацию, — доктор культурологии окатил джентльмена ушатом холодной вежливости. — Следующее слово даме, Екатерине Артуровне. Она не нуждается в представлениях, была оппонентом у меня

Я подготовила содоклад («О, боже!» — выдохнула Ольга), но прежде я хотела бы возразить оценке, прозвучавшей из уст нашего уважаемого гостя, — дама сделала плавный жест в сторону джентльмена. — Я хочу сказать, что...

Дама сидела впереди, и Ольга увидела (в первый миг она не поверила своим глазам!), как ораторша плавно уменьшается в размерах, как бы

Дама с крупными локонами и коралловой ниткой на короткой шее

 Спасибо, Юрий Платонович, за рекомендацию. Для меня огромная честь выступать сегодня среди столичных интеллектуалов, цвета нации.

— Ну вот, я уже ничего не скажу, — заметила Екатерина Артуровна из-под стола, — потому что стул подо мной развалился! Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Платоныч бросился к неудачливой защитнице, причитая:

— Вы не ушиблись? Ах, какая досада!

на докторской, известный ученый, философ культуры.

«оплывает», оседает на пол. Раздался грохот.

— Мне подставил этот стул Семен Афанасьевич, — плаксиво пожаловалась дама на деда с ежиком и слуховым аппаратом.

— Вы сами его схватили! — взъярился Семен Афанасьевич. — Кости-

то целы? Шейка бедра? Или как?

«Перформанс! Оживляж! Крушение смыслов!» — Ольга, воспользо-

вавшись суматохой, выскочила из зала. Интеллектуальную битву вместе с ней покинули автор «Амфибрахия галопа» и хипстер с девушкой. «Неужто старый черт за девчонкой увяжется?» — ахнула Ольга. И,

да, джентльмен с холеными усами, похоже, прочно сел на хвост молодой парочке, уговаривая их выпить вместе кофе и «обсудить безграмотный

бред». «Пропал мир!» — Ольга почувствовала, как ее захлестывает волна мизантропии.

Набрала Машуню:

— Ты где?

скромно потупилась:

— Олечка, родненькая, привет еще раз! Форс-мажор! Вопрос жизни и смерти! Представляешь, я отвезла эти бумажки — каждый день отчеты пишем, очуметь-не встать — успела тютелька в тютельку, к закрытию.

И тут мне звонит Сашуня. А мы же были в ссоре, мы же не разговаривали целых три дня! Я тебя зачем срочно вызвала: разобрать эту трагическую ситуацию! Ну, ты знаешь, я не могу жить в несчастии, в духовной пытке! И тут — Сашуня!.. Ну, то-се, почему, да как... В общем, я еду к нему в Бибирево! Это ужасное свинство с моей стороны, но я не могу иначе! Пойми, мы должны с Сашуней залечить рану, развеять пеплы страданий! Иначе... Я даже не хочу думать, что может быть! Ты, как тонко чувствующая женщина, меня поймешь!

Оглушенная напором подруги, Ольга промямлила:

- Ну да... Ладно. Теперь уж ты ко мне, как-нибудь...
- Хорошо-хорошо! Слушай, стоп, не бросай трубку! Мероприятие как проходит, я вообще-то за него отвечаю!
 - Презентация книжки?
 - Ну да!
- Бодро идет, только под теткой стул рухнул. В хлам. Восстановлению не подлежит.
- Ой, это, наверное, тот, что я скотчем стягивала! Я его специально в сторонку поставила, он у меня для красоты был, как в музее, нет, все равно схватили! Что за народ бестолковый, скажи на милость?!..
 - Ученые-печеные...
- Маленькая просьба (я на автобусе еду, может связь пропадать, ты мне перезвони тогда, а то у меня деньги на телефоне закончились, я весь лимит с Сашуней выговорила, потому что сначала он позвонил, потом я ему, а мы же целых три дня не общались, мне столько ему надо было сказать!): так вот, просьба манюсенькая, подойди, пожалуйста, к Вере Николаевне, гардеробщице, чудесная женщина с модным окрасом — видела, какой у нее принт на голове революционный?!; да, так скажи ей, что меня не будет, чтобы она — вместо меня — и чтобы всю компанию она гна-

ла в шею в десять вечера; и чтобы после презентации окна все проверила и на сигнализацию здание поставила. Она все знает, просто ей надо на-

- помнить. Человек уже немолодой, может что-то забыть! — Хорошо, сейчас.
- В гардеробе сиротливо тут и там висели одинокие пальто и куртки с полусогнутыми от долгой носки рукавами.
 - Веры Николаевны не было.
 - Машунь, а я не вижу гардеробщицы...
- Oe-ей! в трубке раздалось протяжное стенание. Олюня, родненькая, я забыла!!! Забыла я главное! Она мне с утра говорила, что пораньше сегодня уйдет, что у нее у внучки день рождения! Я ее сама отпустила!.. Олюнь! Зайка! Котик мой! Пупсик! Ну что мне делать?! (Ольга услышала всхлипы и шмыганья носом.) Ой, у меня тушь потекла! Ой, как меня такую Сашуня примет?!.. Олюня, ну, ты все равно на месте! Ты пой-
- ми, если я сейчас к Сашуне не приеду, это скандал! Разрыв! Я умоляю тебя, на колени мысленно становлюсь: побудь, пожалуйста, с этими сумасшедшими до десяти часов, а потом их жестко разгони! Ну, хочешь, я тебе тысячу рублей пришлю за моральные страдания! Да что тысячу! Я тебе ползарплаты отдам!
- Подожди, к чему такие жертвы. Машуня, я все сделаю, не волнуйся, пожалуйста. Уже половина десятого. Но я не знаю, где сигнализация. И потом, они же видели, что я в зале сидела. А теперь я ими руководить возьмусь!
 - Ой, какая ты прелесть! Настоящий друг! Спасибо огромное! Окна,

Кремль! Олюнь, ну все, я подъезжаю! Я должница твоя, пока!
В трубке запикало.
«Вот влипла!» — с досадой подумала Ольга.
Расстроенная, она вернулась в зал. Выступал пожилой дядечка с лег-

главное, окна! И сигнализация, как будешь уходить — кнопка за шторкой! Нажми на нее, она должна зелененьким мигнуть. А что в зале сидела — отлично! Они подумают, будто администрация ими особенно интересуется, начальство с верхов! Что все их умные мысли идут прямо в

кой небритостью, тот самый, что сразу устроился возле чайного столика и подъедал печенюшки во время доклада. Он вещал:

— Лжедмитрий у Юрия Платоныча, его трактовка весьма оригинальны В сущности эта фигура если влуматься и есть первый русский ев-

ны. В сущности, эта фигура, если вдуматься, и есть первый русский европеец на нашей почте.

«Ага, европеец! И сразу на царский трон полез! А про князя Курбского че ж забыл?! Тоже европеец! А Гитлер — европеец дальше некуда! Ариец! А Наполеон?! Одни европейны кругом!»

Ольга подошла к Платонычу и грозно прошептала: «Закругляйтесь! Мы в десять закрываемся!»

— Да-да! Господа, очень интересная дискуссия, но администрация нас просит...

- просит...
 ...Выйти вон! прорычал Семен Афанасьевич. А я еще не ска
- ...Выйти вон! прорычал Семен Афанасьевич. А я еще не сказал своей главной мысли.
- Нет-нет! Платоныч сложил руки на груди лодочкой и устремил умоляющий взгляд на Ольгу. Вы же дадите выступить таким уважаемым людям?! Ну, пожалуйста! Мы так редко собираемся вместе, факти-
- чески варимся в собственном соку, а общение порождает кумулятивный эффект, интеллектуальные инновации, идеи. Сон разума опасен для общества!

 «Чумные бактерии вы порождаете, а не идеи!.. Да что ж за день та-
- кой?! внутренне изумилась Ольга. Все на мне ездят: Машуня, хмыри эти контуженные, даже либеральная миссия моими соками питается...» Хорошо, сказала она вслух. Пожалуйста, пусть гости выступят, но, прошу, покороче: мы не можем нарушать правила работы бюд-
- жетного учреждения. Все присутствующие за порядок и закон, надеюсь.

 Принято! восторженно вскричал Платоныч. Слово Саше Мальману, известному писателю, драматургу, общественному деятелю. Белоголовый осанистый дялька с живыми карими глазами, крючко-
- Белоголовый осанистый дядька с живыми карими глазами, крючковатым носом и улыбчивым лицом встал, сцепил короткие ручки на животе. Он весь издучал оптимизм и довольство. А пресатом своей речи Маль-

ватым носом и улыочивым лицом встал, сцепил короткие ручки на животе. Он весь излучал оптимизм и довольство. Адресатом своей речи Мальман выбрал Ольгу:

- Я думаю, что книга Юрия Платоновича весьма полезна, раздумчиво начал он.
- «Не читал, сразу поняла Ольга. Будешь ты такой дурью голову
- себе забивать».

 На Западе отношение к русской литературе переносят на общество.
- на Западе отношение к русскои литературе переносят на общество. Мол, такие произведения могут появиться только у великого народа. Но это не так! Мальман слегка улыбнулся и опустил веки.
- «О, артист погорелого театра! Видимо, какую-то гадость собирается выдать, силы копит», Ольга нахмурилась и даже слегка выдвинула вперед нижнюю челюсть, придавая своей физиономии вид пещерного антилиберализма.

Мальман поднял веки, встретился с ней взглядом, слегка смешался и, трагически воздев руки, выдохнул: — Нет, такая литература могла возникнуть только у глубоко несчаст-

ного народа!.. И Юрий Платонович нам показал в своем фундаментальном труде, — Мальман чуть — одними глазами — подмигнул Ольге, —

корни стремления к свободе, к справедливости, к гуманизму! «Ах ты!.. — оторопела Ольга. — Ты еще и клинья под меня подбива-

ешь!» — она отвернулась от оратора и стала демонстративно убирать по-

суду с чайного стола: мол, у вас — своя свадьба, у меня — своя, и вообще, имейте в виду — время ваше вышло. — И заключительное слово, — затрепетал Платоныч, — нашему уважаемому Семену Афанасьевичу.

— Я сидя буду говорить, — проскрипел дед с седым ежиком и слухо-

вым аппаратом за ухом. — Меня обвиняют во всех смертных грехах: мол,

я один из тех, кто перестройку заварил, и я тот, кто Екатерине Артуров-

не дефективный стул подставил. В зале раздались легкие смешки, а лицо несчастной Артуровны по-

крылось неровными розовыми пятнами, как бывает при гипертоническом кризе. «Еще не хватало, чтоб ее тут апоплексический удар хватил! — озаботилась Ольга. — Смерть на презентации! Либеральный триллер!» — Я, знаете ли, за справедливость и люблю резать правду-матку, как она есть, невзирая на лица, — медленно скрипел Афанасьич. —

стройки... 1991-й год, развал СССР, и февраль 1917-го, когда рухнула Российская империя, к либерализму, между прочим, вообще не имеот отношения. В зале раздался недовольный ропот. — Tuxo! — захрипел Афанасьич. — Я никому не мешал выступать,

Как я мог подставить стул, если я вижу плохо?! А что касается пере-

нести откровенную ахинею, всех выслушал, позвольте и мне сказать, что думаю. Юрий Платонович, я, когда читал ваш текст про «Я помню чудное мгновение...», три страницы анализа мелким шрифтом, я понял, что это, во-первых, не подлежит никакой вербализации, настолько это наукообразно высказано, а, во-вторых, все ваши построения — неправда. Известно ли вам, например, что Пушкин написал про героиню стихотво-

рения в письме к другу? Да, — Платоныч потупился как школьник.

— Вот и объявите это сейчас!

— Ну зачем? — докладчик умоляюще сомкнул руки в замок и подтянул их подбородку. — Жизнь — одно, а творчество — совсем другое!

— А объективность ученого где? — взъярился злой дед.

— Я не буду при дамах! Это неинтеллигентно, Семен Афанасьевич,

чужие письма цитировать. — Не надо! Мы знаем! Читали! — зашумели в зале.

Афанасьич властно остановил галдеж:

— Ладно, не будем. Но: автор пишет в своей книге нечто настолько

выдуманное, что Пушкин его даже на дуэль не смог бы вызвать. Лицо Юрия Платоновича выражало полное смятение. Он чуть не пла-

кал, лоб его покрылся тревожными складками, пальцы мелко подрагивали. Даже розы, показалось Ольге, слегка поникли от жалящих слов грубого старика.

— У вас насквозь антинаучная, лукавая книга. Вы берете некую идею и подверстываете под нее цитаты из писателей, потом трактуете их в нужном вам смысле. Но так можно написать и множество других книг с совершенно противоположным посылом.

— Но ведь метод Юрия Платоновича работает! — вдруг смело вступила еще одна дама, в серой кофточке, с серыми же волосами, похожая на старую верткую мышку.

 Работает, — Афанасьич даже не повернул голову в ее сторону. — Вот видите! — загалдели в зале.

На лбу у Платоныча медленно разглаживались морщины.

— Работает, но это — манипулятивный эффект. Такая книга годит-

ся для быдла, образованцев. Ваш анализ неадекватен, ущербен исторической реальности. А она нам говорит следующее: без русской культуры невозможно было бы утверждение нынешнего православно-чекисткого на-

пизма! «Ух ты!» — Ольга от таких откровений аж вздрогнула. Позвольте! — вскочила мышка. — Я от сегодняшнего режима не в восторге, я его критик, но нацизм... Не слишком ли сильно сказано?

Юрий Платонович нигде не пишет про нацизм, заметьте! — мышка устремила свою речь к Ольге. — Я — соратница автора книги, мы работаем вместе, я его давняя поклонница, его таланта ученого, интерпретатора.

Грубые политические ярлыки ни к чему! Мы живем в свободной стране...

Поднял шум-гам — все говорили одновременно: Либо империя и все рабы, либо личность — и свобода.

— Как будто в империи можно запретить думать.

— У вас порочная методология.

— Россия уже не так литературоцентрична, как прежде.

— Умирание искусства происходит во всех сферах.

— Русская культура не приемлет личности.

— А вы-то сами себя личностью считаете?

— Поэзия — жанр русской философии.

— У либерализма должны быть культурные основания.

— Иначе у него нет шансов в России.

«А Машуня сейчас, поди, в шашнях, — с грустью подумала Ольга. —

Предательница, специально заманила, чтоб с Сашуней повидаться. А меня бросила на амбразуры. Вечер какой чумовой! И мебель крушили, и «скорую» чуть не пришлось вызывать, теперь вот до политики дошли. Надо закруглять этот шабаш, а то еще посадят! За экстремизм и самозванство; не посмотрят, что хлестаковщина на Руси — европейский тренд!..»

 Товарищи! — возгласила она от стола с провизией. — Мы все люди из советского прошлого, поэтому я к вам так обращаюсь. — Зал обескураженно стих. — Вот, Александр Михеевич, — она ласково улыбнулась Мальману, — много о социалистическом соревновании писал, — она ляп-

нула наугад, но по тому, как смешался Мальман, поняла, что попала в точку. — Накал дискуссии высок, но мы существенно нарушили регламент. Пять минут, и я выключаю свет!

— Спасибо за понимание, — уважительно прохрипел в ее сторону Семен Афанасьевич. — Я заканчиваю. Ваши герои, Юрий Платонович, которых вы нынче так усиленно воспевали: Пушкин, Гоголь, Лермонтов,

Чехов, Достоевский, — да, они являются олицетворением русской культуры. Но именно они — певцы махрового национализма, они — творцы нынешней империи, столпы, на которых держится милитаристская иде-

ология режима! А вы им приписываете либерализм, европейскую культуру! Их не толковать надо...

— ...a читать и перечитывать! — вклинилась в распаленный монолог Афанасьича Ольга. Она уже переместилась в центр зала, к Платонычу, и всем своим видом показывала, что «продолжения банкета» не будет. —

Какой замечательный, жизнеутверждающий финал нашего собрания! — Ольга почувствовала, что входит во вкус роли. — Какой величественный

гимн русской классике мы сегодня услышали от Семена Афанасьевича! Пушкин говорил: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Иными словами —

все люди братья. Как поется в известной песне, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Но, к сожалению, мы сильно выбились из гра-

фика, и чая-кофе не будет. Расходимся! До новых встреч! Пожалуйста, не забывайте веши! Смятый напором Ольги, Семен Афанасьевич обескураженно молчал.

Народ задвигал стульями и, кряхтя и переговариваясь, потянулся к выходу. Платоныч предлагал розы (впрочем, не очень настойчиво) Артуровне, та пунцовела, как восьмиклассница, и неуверенно отказывалась: «Сегодня ваш праздник, мне неловко». Дама, похожая на мышку, складывая продукты с чайного стола в сумку, озабоченно поглядывала на препирающуюся пару. «Уж не Зоинька ли это? Та самая, что цветы подарила! —

догадалась Ольга. — О, тут еще и любовная линия проклевывается!» Платоныч стоял с розами в руке и метался взглядом от Артуровны к Зоиньке. Видно было, что ему жаль отдавать такие чудесные цветы. В конце концов, помявшись возле букета, Артуровна ушла не солоно хлебавши.

«Зато шейка бедра целая!» — мысленно утешила ее Ольга. — Я так волновалась за тебя, Юра! — Зоинька сияла, Платоныч рас-

троганно улыбался.

Влюбленные, после шумных прощаний и благодарений Ольге, подхватив сумки, покинули поле интеллектуального боя.

В зале остался один Семен Афанасьевич — грузный и сумрачный. — А вы домой собираетесь? — бодро, с фальшивой вежливостью в го-

лосе осведомилась Ольга. Старик поднял крупную голову. Белый ежик его поник и будто стал

реже, глаза — больные, с мутной поволокой.

— Я, когда шел сюда, — засипел он, — уже знал, что скажу и что будет скандал, драка. И я думал: мы поорем, поспорим, а после, как в

прошлые времена, закатимся куда-нибудь в ресторан, посидеть, выпить... «Черт старый! Одной ногой в могиле, а туда же — к увеселениям!» —

подумала Ольга. — Вы мне такси вызовите, пожалуйста, — Афанасьевич совсем сник,

сдулся. — Только подешевле, если можно. Я вижу плоховато, не могу номер набрать.

«Доперестраивался! — мстительно укорила его Ольга. — Остался

один, никому не нужный... Даже толерантный Платоныч тебя кинул. Променял соратника на бабу с розами!...»

Наконец, дело закончено: интеллект-центр поставлен на сигнализацию, стальная дверь захлопнута, Афанасьевич посажен в такси к водителю-узбеку.

Ольга спускается в метро. И пока она читает внезапную эсэмэску от Машуни: «Привет от Сашули! Мы счастливы!!!», на ступенях, приладив картонку для подаяния у ног, сухонькая старушка в детском пальтишке поет высоким, благостным голоском, возведя очи горе:

Все прошло, все умчалося В невозвратную да-а-аль, Ничего не осталося, Лишь тоска да печаль...

интересное предложение

В электронной почте Ольга обнаружила письмо от некоей Светланы из пресс-службы высших правительственных сфер. В самых почтительных выражениях Муромову просили обязательно связаться по указанному телефону для обсуждения «важного дела».

Ольга взглянула на часы — по чиновным офисам звонить уже поздно. Да и голова у нее, если честно, была забита абсолютно другой заботой. Весь день она думала только об Илье, о предстоящем свидании.

На следующий день она про письмо и не вспомнила, но Светлана позвонила ей сама:

- Вадим Григорьевич (начальник) очень просил, чтобы вы нашли возможность встретиться с ним.
 - A в чем суть? недоумевала Ольга.
- Я не знаю деталей, трепетала Светлана. Но я вас очень прошу, в голосе у нее зазвучали такие страдальческие нотки, как будто ее сейчас начнут жарить на костре, назначьте время, какое удобно, Вадим Григорьевич будет ждать.

Ольга, подумав, согласилась: она поняла, что исполнительная Светлана с нее не слезет. Встречу назначили на завтра, на десять утра.

Обедать Муромова пошла в кафешку, где часто собирались журналисты из Дома прессы. Размышляя над звонком Светланы, она вспомнила, что Вера Марципович из «Известий», давняя, хоть и не близкая ее знакомая, долго работала в рекламе и Вадима Григорьевича знала, как облупленного.

Ольге повезло — Вера толклась на раздаче и, увидев Муромову, стала энергично махать рукой, шуметь, что «заняла место» и пр. Небольшая очередь из мужиков покорно стерпела — Марципович отличалась вздорным характером — резким, неуживчивым, была остра на язык и с особой требовательностью относилась к сильному полу.

Вера считала себя роковой красавицей. Главным достоинством ее внешности был нос. Не то, чтобы он был велик или уродлив, но эта черта явно доминировала и «вела» Марципович по жизни. Нос был своевольным, всеведущим, и выражал ее «второе я».

Первым делом Вера высыпала ворох проблем — незаконченный ремонт, штраф из ГАИ, сволочное отношение шефа, конъюнктивит у котенка, сезонную депрессию, увлечение хиромантией и затяжку на новой блузке (последнее было продемонстрировано тут же, за столом — дефект на импортном трикотаже возник в районе талии). Муромова прямо и неуклюже перевела разговор на звонок Светланы («знаю эту дуру!» — воскликнула Марципович) и приглашение Вадима Григорьевича («на золотой куче сидит и никого не пускает», — уважительно-завистливо прокомментировала Вера).

— В общем, Светлана эта — провинциалка, из Торжка что ли или из Осташкова, — я эти города путаю, — пустилась Марципович в объяснения. — Фамилия Вадима Григорьевича — Толстопальцев, хотя я бы ему дала другую — «Рукизагребущие», они его двигают на министра, ведает большими проектами.

— По ведомству Навального, поди, проходит, — усмехнулась Ольга.

— Да-да! Удивительно, как он до этого борова не добрался... У нас был договор о сотрудничестве, я в его структуру таскалась на совещания, лицезрела это сытое физио (посмотри в интернете, морально подготовься).

Светлану он выписал из провинции, она победила в конкурсе по занятию вакансии, и, поскольку не блатная, он над ней глумится по полной программе. Сколько она у меня на плече рыдала — не перечесть!..

— Понятно, — вздохнула Ольга. — А я-то ему зачем?

сить экспрессивность Веры, картина вырисовывалась странная...

— Даже не могу представить! — вскричала Вера. — Это настолько ограниченное существо, что все мысли у него вертятся вокруг денег. Инт-

ригуете, Ольга! — она погрозила пальцем. — Что с вас взять? Какую пользу? Муромова обещала сразу после визита «дать отчет». Даже если отбро-

Надо отдать должное Марципович — типажи она нарисовала карикатурные, но точные. Достаточно было взглянуть на пресс-секретаря Светлану, чтобы наполовину ее «прочесть», а уж после пяти минут общения

Ольга знала и содержание второй «части». Эта была пугливая и наивная женщина, со страдальческой печатью на «офисном» лице. «Ничего лишнего не говорите, — шептала она Оль-

ге, пока они поднимались в лифте, — везде камеры, прослушки». В приемной у Толстопальцева за большим офисным столом сидели аж две красавицы-фотомодели — с великолепными улыбками, стильно одетые, ухоженные, с десятисантиметровым маникюром.

Референты Вадима Григорьевича, — фальшиво любезничая, пред-

ставила девушек Светлана (Ольга сразу и прочно забыла их имена). — Вам чай, кофе? — грудным голосом осведомилась одна из брюне-

ток. В интонации у нее было прямо-таки что-то материнское! — Чай черный без сахара, — заказала Ольга, аккуратно оглядываясь:

ни дать ни взять — золоченая клетка! Новенький, с иголочки, ремонт, абстрактная живопись по стенам, подсвеченный аквариум с тропическими рыбками, дверь из натурального дерева, ведущая в кабинет... А вот и

мелодичный звонок внутренней связи. — Идемте, — с обреченностью и тоской сказала Светлана, вставая с мягкого кресла.

Встреча получилась в высшей степени странная.

Ольга сидела напротив Толстопальцева, не спеша тянула благородный чай из императорского фарфора, внимательно слушала сбивчивую речь чиновника и пыталась вникнуть в суть происходящего.

— Я, знаете ли, хочу сделать вам хорошее предложение...

«То есть бесплатно заставить работать».

— Я возвращался из служебной командировки, на борту «Аэрофлота» есть пресса, и, главное, есть время читать...

«Ну да, в основном-то вы только считаете, когда вам читать!»

— И там была ваша статья в журнале очень жесткая, справедливая,

о коррупции, «Нары, Канары и Закон Божий»...

«Сам-то ты не с Канар возвращался?» Ольга коротко и внимательно взглянула на него, и по тому, как заметался взгляд глубоко посаженных бесцветных глазок, как порозовело сытое, массивное лицо Толстопальцева, поняла, что попала в точку.

— И это, конечно, ужасный порок — коррупция, «откаты», как вы пишете. Политтехнология, навязанная Западом. Сначала чиновников нравственно разлагают, а потом народ начинает протестовать, выходить на площадь...

«Ага! Значит, такой кусок заглотил, аж самому страшно стало!»

В лице Толстопальцева обозначилось нечто мученическое. Боковым зрением Ольга отметила изумление Светланы — похоже, в таком состоянии та видела шефа впервые!

— Вы очень верно и точно говорите, — мягко и сердечно поощрила Муромова чиновника.

Толстопальцев совсем расклеился — голос его дрогнул, левый глаз увлажнился.

«Да... И у воров бывают минуты покаяния! Надо же, ну я прям как батюшка, как отец Феодосий! Народ на исповедь пошел!»

Ольга отвела взгляд, «не заметила» минутной слабости Толстопальцева, и он приободрился, взял себя в руки:

— И вот я хотел Мы в департаменте велем такую работу. Она на-

— И вот я хотел... Мы в департаменте ведем такую работу... Она, наверное, вам будет интересна... Далее последовало путаное изложение «фантазии», суть которой, если

перевести ее из метафизической области в практическую, состояла в следующем. Страшные нары, образ которых нарисовала в статье Ольга, так потряс Толстопальцева, что он решил: единственное средство спасения для него — бескорыстно написанная заметка честного журналиста. И эта статья должна убедить, в первую очередь, самого Вадима Григорьевича в его добропорядочности и неподкупности. Ему, Толстопальцеву, не нужен пиар, ему нужна глубинная правда — в душе он знает, что он — хороший и замечательный человек и что деньги — ничто по сравнению со спокойной совестью. Любовь продажных писак ему надоела, он хочет искренней и бескорыстной симпатии от благородных сердец, он мечтает о «возвращении к истокам» настоящих чувств и эмоций. Он верит, что Муромова оценит его душевный порыв и не откажет страждущему и ищущему...

С первых же слов «фантазии» Ольга вполне уяснила ее суть, но не перебивала Толстопальцева и слушала его, не выказывая эмоций. «Достоевщина... ишь, как завело его!» Она мельком взглянула на Светлану: на лице пресс-секретарши читался суеверный ужас.

Наконец Толстопальцев остановился. Кажется, он был растерян: не

сболтнул ли лишнего?! Но Ольга прекратила его метания: она была улыбчива, деловита и доброжелательна. Несколько слов о социологии, геополитике, современных медиа, и, конечно, спасибо за встречу и лестное предложение. «Детали мы обсудим со Светланой Викторовной. Я и так у вас отняла тьму времени! Благодарю, полезное общение, было приятно познакомиться с думающим человеком!»

Она протянула Толстопальневу руку и поощряюще улыбнулась. Чи-

Она протянула Толстопальцеву руку и поощряюще улыбнулась. Чиновник проводил их в предбанник с брюнетками. Прощались еще и там: радостно и деловито, как старые знакомые, почти родственники.

— Дайте мне подумать! — лучезарно улыбалась Ольга.

подоконнику:

Толстопальцев вроде успокоился, утишился. Выговорив «фантазию», он был мил и кроток.

н оыл мил и кроток.
— Сюда, — шепнула Светлана и потащила Ольгу к запасному выхо-

— сюда, — шеннула светлана и потащила ольгу к запасному выходу, на лестницу. В молчании они спустились на два этажа вниз. Светлана подвела ее к

- Здесь можно все обсудить, камер нет...
- Муромова вперилась в нее подозрительным взглядом:
- Что это было, скажите на милость?!
- Не знаю! Светлана всплеснула руками. Чего ему в голову взбрело?! Может, приснилось что страшное?! Он, как прочитал вашу статью, неделю ходит шелковым, практически перестал орать. Даже на меня! Я уж думаю пропади они пропадом, эти деньги вернусь домой! Лучше подъезды буду убирать, чем так мучиться, она вдруг заплакала тоненько, жалко, размазывая слезы по напулренным шекам.

Ольга вытащила из сумки бумажный платок.

— Спасибо, — Светлана хлюпала носом. — Ведь жить не дают, кровососы! Как люди в деревнях маются, в городках, без работы! А они тут... — она махнула рукой. — Вы ведь не согласитесь, да? — Ольга кивнула. — Я так и знала, так и знала! Думаю, нет, она никогда не согласится! — ликовала Светлана. — Видишь, какая идея: они решили, что если о них напишут хорошо (меня-то он купил, вот и куражится, как хочет!), то и сами станут чистыми! А я прочитала вас и поняла: она не согласится! Она не согласится! — твердила Светлана с восторгом. Во взгляде ее читалось торжество.

В метро народу было немного. В вагоне разволнованная Ольга как-то по-новому всмотрелась в окружающие лица. Ехали в основном работяги возраста Толстопальцева. Жизнь, быт и мысли проступали в тяжелых чертах «людей подземелья»: кто пьет, кто переедает, у кого желчный характер, а вот этому мужику, наоборот, не хватает воли и злости!

Да, это были не ангелы, а обычные трудяги, чья жизнь протекала не в светлом офисе с золотыми рыбками, а, судя по задубелой коже и разлапистым рукам, на грязном и тяжелом производстве. Но в эти минуты работяги, по сравнению с холеным чиновником, казались Ольге красавцами! Она с такой радостью, приязнью и добросердечием всматривалась в их лица, что мужики смутились и стали переглядываться.

Погруженная в свои мысли, она не замечала их аккуратного шушуканья. Думала о другом: «Почему Толстопальцев обратился ко мне? Неужели я могу предать, дрогнуть? Пусть не из-за денег, а из доверчивости, «доброты душевной»? Или из тщеславия, минутной слабости, глупости?»

Раздумья тенью легли на ее лицо — она даже нахмурилась. А монтажник Василий говорил тем временем товарищу-кабельщику: «Видишь, Петя, как хорошо, что ты нынче побрился! Дамочка на тебя и запала!»